Человеческое, слишком человеческое

Автор:
Фридрих Ницше

Человеческое, слишком человеческое

Фридрих Вильгельм Ницше

«Человеческое, слишком человеческое» – произведение, важное с точки зрения развития творчества Ницше. В нем он переосмысливает значение своих идеалов и отказывается от них, разочаровывается в трудах своих кумиров. Ницше ищет свободу и освобождение от прописных истин и постепенно приходит к тем неординарным и эксцентричным мыслям, по которым мы его знаем в произведениях «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла».

Фридрих Вильгельм Ницше

Человеческое, слишком человеческое

Предисловие

1

Довольно часто и всегда с большим удивлением мне говорили, что есть что-то общее и отличительное во всех моих произведениях. Начиная с «Рождения трагедии» вплоть до недавно опубликованного «Пролога к философии будущего»: все они содержат – говорили мне – западни и сети для неосторожных птиц и едва ли не постоянный незаметный призыв к перевороту всех привычных оценок и ценимых привычек. Как? Все это только –

человеческое, слишком человеческое? К этому вздоху приводит чтение моих произведений; читатель испытывает некоторого рода пугливость и недоверие даже к морали, более того, его немало искушает и поощряет к защите худших вещей мысль: а что, если это – только наилучшим образом оклеветанные вещи? Мои произведения называли школой подозрения, еще более – школой презрения, к счастью, также школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, чтобы кто-то когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и – выражаясь богословски – в качестве врага и допросчика Бога; и кто угадывает хоть что-нибудь из последствий всякого глубокого подозрения – из озноба и тревог одиночества, на которые осуждает всякая безусловная различность взора, – тот поймет также, как часто, чтобы отдохнуть от себя и как бы временно забыть себя, я тщился приютиться где-либо – в какой-либо почтительности, или вражде, или научности, или шаловливости, или глупости, а также почему, когда я не находил того, что мне было нужно, мне приходилось искусственно овладевать им, подделывать и сочинять себе это (и разве поэты делали когда-либо что другое? и для чего же и существует все искусство на свете?). Но что мне было всегда нужнее всего для моего лечения и самовосстановления, так это вера, что я не одинок в этом смысле, что мой взор не одинок, – волшебное чаяние родства и равенства во взоре и вожделении, доверчивый покой дружбы, слепота вдвоем, без подозрений и знаков вопроса, наслаждение внешностью, поверхностью, близким и ближайшим – всем, что имеет цвет, кожу и видимость. Может быть, в этом отношении меня можно уличить в кое-каком «искусстве» и признать тонким фальшивомонетчиком; уличить, например, в том, что я намеренно-умышленно закрывал глаза на шопенгауэровскую слепую волю к морали в ту пору, когда я уже ясно различал в делах морали, а также что я обманывал себя насчет неизлечимого романтизма Рихарда Вагнера, как если бы он был началом, а не концом; а также насчет греков, а также насчет немцев и их будущности – и, может быть, наберется еще целый длинный список этих «также»? – Но допустим, что все это так, что во всем этом можно с полным основанием уличить меня; что же вы знаете, что можете вы знать о том, сколько хитрости самосохранения, сколько разума и высшей предосторожности содержится в таком самообмане – и сколько лживости мне еще нужно, чтобы я мог всегда сызнова позволять себе роскошь моей правдивости? Довольно, я еще живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали; она ищет заблуждения, она живет заблуждением… но не правда ли? я опять уже принялся за свое, начал делать то, что делаю всегда, – я, старый имморалист и птицелов, – говорить безнравственно, вненравственно, «по ту сторону добра и зла»?

2

Так, однажды, когда мне это было нужно, я изобрел для себя и «свободные умы», которым посвящена эта меланхолично-смелая книга под названием «Человеческое, слишком человеческое»; таких «свободных умов» нет и не было – но, повторяю, общение с ними было мне нужно тогда, чтобы сохранить хорошее настроение среди худого устроения (болезни, одиночества, чужбины, acedia, бездеятельности); они были мне нужны, как бравые товарищи и призраки, с которыми болтаешь и смеешься, когда есть охота болтать и смеяться, и которых посылаешь к черту, когда они становятся скучными, – как возмещение недостающих друзей. Что такие свободные умы могли бы существовать, что наша Европа будет иметь среди своих сыновей завтрашнего и послезавтрашнего дня таких веселых и дерзких ребят во плоти и осязательно, а не, как в моем случае, в качестве схем и отшельнической игры в тени – в этом я менее всего хотел бы сомневаться. Я уже вижу, как они идут, медленно-медленно; и, может быть, я содействую ускорению их прихода, описывая наперед, в чем я вижу условия и пути их прихода?

3

Можно предположить, что душа, в которой некогда должен совершенно созреть и налиться сладостью тип «свободного ума», испытала, как решающее событие своей жизни, великий разрыв и что до этого она была тем более связанной душой и казалась навсегда прикованной к своему углу и столбу. Что вяжет крепче всего? Какие путы почти неразрывны? У людей высокой и избранной породы то будут обязанности – благоговение, которое присуще юности, робость и нежность ко всему издревле почитаемому и достойному, благодарность почве, из которой они выросли, руке, которая вела, святилищу, в котором они научились поклоняться; их высшие мгновения будут сами крепче всего связывать и дольше всего обязывать их. Великий разрыв приходит для таких связанных людей внезапно, как подземный толчок: юная душа сразу сотрясается, отрывается, вырывается – она сама не понимает, что с ней происходит. Ее влечет и гонит что-то, точно приказание; в ней просыпается желание и стремление уйти, все равно куда, во что бы то ни стало; горячее опасное любопытство по неоткрытому миру пламенеет и пылает во всех ее чувствах. «Лучше умереть, чем жить здесь» – так звучит повелительный голос и соблазн; и это «здесь», это «дома» есть все, что она любила доселе! Внезапный ужас и подозрение против того, что она любила, молния презрения к тому, что звалось ее «обязанностью», бунтующий, произвольный, вулканически

пробивающийся порыв к странствию, чужбине, отчуждению, охлаждению, отрезвлению, оледенению, ненависть к любви, быть может, святотатственный выпад и взгляд назад, туда, где она доселе поклонялась и любила, быть может, пыл стыда перед тем, что она только что делала, и вместе с тем восторженная радость, что она это делала, упоенное внутреннее радостное содрогание, в котором сказывается победа – победа? над чем? над кем? Загадочная, чреватая вопросами и возбуждающая вопросы победа, но все же первая победа – такие опасности и боли принадлежат к истории великого разрыва. Это есть вместе с тем болезнь, которая может разрушить человека, – этот первый взрыв силы и воли к самоопределению, самоустановлению ценностей, эта воля к свободной воле; и какая печать болезненности лежит на диких попытках и странностях, посредством которых освобожденный, развязавшийся стремится теперь доказать себе свою власть над вещами! Он блуждает, полный жестокости и неудовлетворенных вожделений; все, чем он овладевает, должно нести возмездие за опасное напряжение его гордости; он разрывает все, что возбуждает его. Со злобным смехом он опрокидывает все, что находит скрытым, защищенным какой-либо стыдливостью; он хочет испытать, каковы все эти вещи, если их опрокинуть. Из произвола и любви к произволу он, быть может, дарует теперь свою благосклонность тому, что прежде стояло на плохом счету, – и с любопытством и желанием испытывать проникает к самому запретному. В глубине его блуждений и исканий – ибо он бредет беспокойно и бесцельно, как в пустыне, – стоит знак вопроса, ставимый все более опасным любопытством. «Нельзя ли перевернуть все ценности? И, может быть, добро есть зло? А Бог – выдумка и ухищрение дьявола? И, может быть, в последней своей основе все ложно? И если мы обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и обманщики? И не должны ли мы быть обманщиками?» – такие мысли отвращают и совращают его все дальше и дальше в сторону. Одиночество окружает и оцепляет его, становится все грознее, удушливей, томительней, эта ужасная богиня и mater saeva cupiidinum – но кто еще знает нынче, что такое одиночество?..

4

От этой болезненной уединенности, из пустыни таких годов испытания еще далек путь до той огромной, бьющей через край уверенности, до того здоровья, которое не может обойтись даже без болезни как средства и уловляющего крючка для познания, – до той зрелой свободы духа, которая в одинаковой мере есть и самообладание, и дисциплина сердца и открывает пути ко многим и разнородным мировоззрениям, – до той внутренней просторности и избалованности чрезмерным богатством, которая исключает опасность, что

душа может потерять самое себя на своих собственных путях или влюбиться в них и в опьянении останется сидеть в каком-нибудь уголку, – до того избытка пластических, исцеляющих, восстанавливающих и воспроизводящих сил, который именно и есть показатель великого здоровья, – до того избытка, который дает свободному уму опасную привилегию жить риском и иметь возможность отдаваться авантюрам – привилегию истинного мастерства, признак свободного ума! Посередине, быть может, лежат долгие годы выздоровления, годы, полные многоцветных, болезненно-волшебных изменений, руководимые упорной волей к здоровью, которая уже часто отваживается рядиться и играть роль настоящего здоровья. Среди этого развития встречается промежуточное состояние, о котором человек, испытавший такую судьбу, позднее не может вспомнить без трогательного чувства: счастье окружает его, подобно бледному, тонкому солнечному свету, он обладает свободой птицы, горизонтом и дерзновением птицы, чем-то третьим, в чем любопытство смешано с нежным презрением. «Свободный ум» – это холодное слово дает радость в таком состоянии, оно почти греет. Живешь уже вне оков любви и ненависти, вне «да» и «нет», добровольно близким и добровольно далеким, охотнее всего ускользая, убегая, отлетая, улетая снова прочь, снова вверх; чувствуешь себя избалованным, подобно всякому, кто видел под собой огромное множество вещей, – и становишься антиподом тех, кто заботится о вещах, которые его не касаются. И действительно, свободного ума касаются теперь вещи, – и как много вещей! – которые его уже не заботят…

5

Еще шаг далее в выздоровлении – и свободный ум снова приближается к жизни, правда, медленно, почти против воли, почти с недоверием. Вокруг него снова становится теплее, как бы желтее; чувство и сочувствие получают глубину, теплые ветры всякого рода обвевают его. Он чувствует себя так, как будто теперь у него впервые открылись глаза для близкого. В изумлении он останавливается: где же он был доселе? Эти близкие и ближайшие вещи – какими преображенными кажутся они ему теперь Какую пушистость, какой волшебный вид они приобрели с тех пор! Благодарный, он оглядывается назад, – благодарный своим странствиям, своей твердости и самоотчуждению, своей дальнозоркости и своим птичьим полетам в холодные высоты. Как хорошо, что он не оставался, подобно изнеженному темному празднолюбцу, всегда «дома», «у себя»! Он был вне себя — в этом нет сомнения. Теперь лишь видит он самого себя, – и какие неожиданности он тут встречает! Какие неизведанные содрогания! Какое счастье даже в усталости, в старой болезни и ее возвратных

припадках у выздоравливающего! Как приятно ему спокойно страдать, прясть нить терпения, лежать на солнце! Кто умеет, подобно ему, находить счастье зимой, наслаждаться солнечными пятнами на стене! Эти наполовину возвращенные к жизни выздоравливающие, эти ящерицы – самые благодарные животные в мире: некоторые среди них не пропускают ни одного дня без маленькой хвалебной песни. Серьезно говоря, самое основательное лечение всякого пессимизма (как известно, неизлечимого недуга старых идеалистов и лгунов) – это заболеть на манер таких свободных умов, долго оставаться больным и затем еще медленнее возвращаться к здоровью – я хочу сказать – становиться «здоровее». Мудрость, глубокая жизненная мудрость содержится в том, чтобы долгое время прописывать себе даже само здоровье в небольших дозах.

6

И в эту пору, среди внезапных проблесков еще необузданного, еще изменчивого здоровья, свободному, все более освобождающемуся уму начинает наконец уясняться та загадка великого разрыва, которая доселе в темном, таинственном и почти неприкосновенном виде лежала в его памяти. Если он долго почти не решался спрашивать: «Отчего я так удалился от всех? Отчего я так одинок? Отчего я отрекся от всего, что почитаю, – отрекся даже от самого почитания? Откуда эта жестокость, эта подозрительность, эта ненависть к собственным добродетелям?» – то теперь он осмеливается громко спрашивать об этом и уже слышит нечто подобное ответу: «Ты должен был стать господином над собой, господином и над собственными добродетелями. Прежде они были твоими господами; но они могут быть только твоими орудиями наряду с другими орудиями. Ты должен был приобрести власть над своими “за” и “против” и научиться выдвигать и снова прятать их, смотря по твоей высшей цели. Ты должен был научиться понимать начало перспективы во всякой оценке – отклонение, искажение, и кажущуюся телеологию горизонтов, и все, что относится к перспективе, и даже частицу глупости в отношении к противоположным ценностям, и весь интеллектуальный ущерб, которым приходится расплачиваться за каждое “за” и каждое “против”. Ты должен был научиться понимать необходимую несправедливость в каждом “за” и “против”, несправедливость, неотрешимую от жизни, обусловленность самой жизни началом перспективы и его несправедливостью. Ты должен был прежде всего воочию видеть, где несправедливости больше всего: именно там, где жизнь развита меньше, мельче, беднее всего, где она всего более первобытна и все же вынуждена считать себя целью и мерой вещей и в угоду своему сохранению

исподтишка, мелочно и неустанно подрывать и расшатывать все высшее, более великое и богатое, – ты должен был воочию увидеть проблему иерархии и как сила, и право, и широта перспективы одновременно растут вверх. Ты должен был…» – довольно, свободный ум знает отныне, какому «ты должен» он повиновался, и знает также, на что он теперь способен и что ему теперь – позволено…

7

Такого рода ответ дает себе свободный ум в отношении загадки разрыва и кончает тем, что, обобщая свой случай, он объясняет себе пережитое. «Что случилось со мной, – говорит он себе, – то должно случиться со всяким, в ком воплощается и “хочет явиться на свет” задача». Тайная сила и необходимость этой задачи будет властвовать над его судьбой и ее частными событиями, подобно неосознанной беременности, – задолго до того, как он уяснит самое эту задачу и узнает ее имя. Наше назначение распоряжается нами, даже когда мы еще не знаем его; будущее управляет нашим сегодняшним днем. Допустив, что именно проблему иерархии мы, свободные умы, можем назвать нашей проблемой, лишь теперь, в полдень нашей жизни, мы понимаем, в каких подготовлениях, обходных путях, испытаниях, искушениях, переодеваниях нуждалась эта проблема, прежде чем она могла встать перед нами, и что мы сначала должны были испытать душой и телом самые разнообразные и противоречивые бедствия и радости в качестве искателей приключений и путешественников вокруг того внутреннего мира, который зовется «человеком», в качестве измерителей каждого «выше», каждого «сверх иного», которое тоже зовется «человеком», – проникая повсюду почти без страха, не пренебрегая ничем, не теряя ничего, пробуя все, очищая и как бы отсеивая все случайное, – пока мы, свободные умы, не можем наконец сказать: «Здесь лежит новая проблема! Здесь длинная лестница, на ступенях которой мы сами сидели и по которой мы поднимались, – какими мы некогда сами были. Здесь есть высота и глубина, есть мир под нами, есть огромный длинный порядок и иерархия, которую мы видим; здесь – наша проблема!»

8

Ни одному психологу и толкователю знаков ни на мгновение не останется скрытым, к какому месту только что описанного развития принадлежит (или отнесена) предлагаемая книга. Но где есть теперь еще психологи? Наверное, во

Франции; быть может, в России; но во всяком случае не в Германии. Нет недостатка в основаниях, по которым современные немцы могли бы даже хвастаться этим – довольно скверно для человека, который в этом отношении по природе и воспитанию не похож на немца! Эта немецкая книга, которая сумела найти себе читателей в широком круге стран и народов – она странствует уже около десяти лет – и которая, очевидно, не лишена какой-то музыки и звуков флейты, с помощью коих можно склонить к вниманию даже тугие уши иностранцев, – эта книга именно в Германии читалась небрежнее всего, и ее хуже всего слушали; чем это объясняется? – «Она требует слишком многого, – отвечали мне, – она обращается к людям, не угнетенным грубыми обязанностями, она ищет тонких и избалованных ощущений, она нуждается в избытке времени, в избытке светлого неба и сердца, в избытке otium в самом дерзком смысле; но всех этих хороших вещей мы, нынешние немцы, не имеем, а следовательно, не можем и давать». – После столь милого ответа моя философия советует мне умолкнуть и не спрашивать далее; тем более что в некоторых случаях, как на то намекает поговорка, можно остаться философом только благодаря тому, что – молчишь.

Ницца, весна 1886 г.

Отдел первый: О первых и последних вещах

1

Химия понятий и чувств. Философские проблемы принимают теперь опять почти во всех областях ту же форму, какую они имели две тысячи лет назад: как может что-либо возникнуть из своей противоположности, например разумное из неразумного, ощущающее из мертвого, логика из нелогического, бескорыстное созерцание из вожделеющего хотения, жизнь для других из эгоизма, истина из заблуждений? Метафизическая философия одолевала доселе эту трудность тем, что отрицала возникновение одного из другого и в отношении более высоко ценимых вещей принимала чудесное происхождение непосредственно из ядра и существа «вещи в себе». Напротив, историческая философия, которую вообще нельзя уже мыслить отдельно от естествознания и которая есть самый новый из

всех философских методов, установила в отдельных случаях (и, вероятно, к такому результату она придет во всех случаях), что это вообще не противоположности – разве только в обычном преувеличении популярного или метафизического понимания – и что в основе этого противопоставления лежит заблуждение разума; согласно ее объяснению, не существует, строго говоря, ни неэгоистического поведения, ни совершенно бескорыстного созерцания: то и другое суть лишь утончения, в которых основной элемент кажется почти испарившимся, так что лишь самое тонкое наблюдение может обнаружить его присутствие. – В чем мы нуждаемся и что лишь при современном уровне отдельных наук может быть нам дано – есть химия моральных, религиозных, эстетических представлений и чувств, равно как всех душевных движений, которые мы испытываем в крупных и мелких отношениях культурной и общественной жизни и даже в одиночестве; а что, если эта химия закончилась бы выводом, что и в этой области самые роскошные краски добыты из низменного, презираемого материала? Многие ли будут иметь охоту подчиниться таким исследованиям? Человечество любит заглушать в своем сознании вопросы о происхождении и началах; и не нужно ли почти лишиться человеческого облика, чтобы почувствовать в себе противоположное влечение?

2

Наследственный недостаток философов. Все философы обладают тем общим недостатком, что они исходят из современного человека и мнят прийти к цели через анализ последнего. Непроизвольно им предносится «человек» вообще, как некая aeterna veritas, как неизменное во всеобщем потоке, как надежное мерило вещей. Однако все, что философ высказывает о человеке, есть, в сущности, не что иное, как свидетельство о человеке весьма ограниченного промежутка времени. Отсутствие исторического чувства есть наследственный недостаток всех философов; многие из них принимают даже самоновейшую форму человека, возникшую под влиянием определенных религий, иногда просто под влиянием определенных политических событий, за прочную форму, из которой следует исходить. Они не хотят усвоить того, что человек есть продукт развития, что и его познавательная способность есть продукт развития, тогда как некоторые из них хотят даже вывести весь мир из этой познавательной способности. – Но все существенное в человеческом развитии произошло в первобытные времена, задолго до тех 4000 лет, которые мы приблизительно знаем; в этот последний промежуток человек вряд ли сильно изменился. Философ же видит «инстинкты» в современном человеке и признает, что они принадлежат к неизменным фактам человеческой жизни и в этом смысле образуют даже ключ к пониманию мира

вообще: вся телеология построена на том, что о человеке последних четырех тысячелетий говорят как о вечном человеке, к которому все вещи в мире изначально имеют естественное отношение. Однако все возникло; не существует вечных фактов, как не существует абсолютных истин. – Следовательно, отныне необходимо историческое философствование, а вместе с ним и добродетель скромности.

3

Оценка незаметных истин. Признаком высшей культуры является более высокая оценка маленьких, незаметных истин, найденных строгими методами, чем благодетельных и ослепительных заблуждений, обязанных своим происхождением метафизическим и художественным эпохам и людям. Первые непосредственно встречаются насмешкой, как будто не может быть и речи об их равноценности последним: ведь по сравнению с блеском, красотою, упоительностью и, быть может, благодетельностью последних они кажутся такими скромными, простыми, трезвыми и, по-видимому, даже наводящими уныние. Однако добытое упорным трудом, достоверное, длительное и потому полезное для всякого дальнейшего познания есть все же высшее; держаться его – значит действовать мужественно и свидетельствует о смелости, непритязательности и воздержности. Постепенно не только отдельная личность, но и все человечество возвысится до этой мужественности, когда оно наконец приучится больше ценить прочные, длительные познания и потеряет веру во вдохновение и чудесное приобретение истин. – Правда, почитатели форм с их мерилом прекрасного и возвышенного будут сначала иметь основания насмехаться, когда начнет преобладать научный дух и оценка незаметных истин, но лишь потому, что их взору еще не открылась прелесть простейшей формы, или же потому, что воспитанные в этом духе люди еще долго не проникнутся им всецело и внутренне, так что они все еще будут бессмысленно подражать старым формам (и притом довольно плохо, как всегда, когда не придают большого значения тому, что делают). Некогда дух не был занят строгим мышлением, и тогда он серьезно посвящал себя выдумыванию символов и форм. Теперь это изменилось; такое серьезное отношение к символическому стало признаком низкой культуры. Подобно тому как сами наши искусства становятся все более интеллектуальными и наши чувства – все более духовными, как, например, мы теперь совсем иначе судим о чувственном благозвучии, чем сто лет тому назад, – так и формы нашей жизни становятся все более духовными, для взора прежних эпох, быть может, более безобразными, но лишь потому, что он не способен видеть, как постепенно все углубляется и

расширяется царство внутренней, духовной красоты и как для нас всех теперь одухотворенный взор может иметь большее значение, чем прекраснейшее строение тела и самое возвышенное архитектурное произведение.

4

Астрология и тому подобное. Весьма вероятно, что объекты религиозного, морального и эстетического чувства также принадлежат лишь к поверхности вещей, тогда как человек склонен верить, что по крайней мере здесь он прикасается к сердцу мира; его обманывает то, что эти вещи дают ему такое глубокое счастье и несчастье, и он обнаруживает здесь, следовательно, ту же гордость, как и в астрологии. Ибо последняя полагает, что звездное небо вращается вокруг судьбы человека; моральный же человек предполагает, что все, что дорого его сердцу, должно быть также существом и сердцем вещей.

5

Неправильное понимание сна. В эпохи грубой, первоначальной культуры человек полагал, что во сне он узнает другой реальный мир; здесь лежит начало всей метафизики. Без сна человек не имел бы никакого повода для деления мира на две половины. Деление на душу и тело также связано с самым древним пониманием сна, равно как и допущение воображаемого душевного тела, т. е. происхождение всей веры в духов и, вероятно, также веры в богов. «Мертвый продолжает жить, ибо он является во сне живому» – так умозаключали некогда, много тысячелетий подряд.

6

Научный дух могуществен в частностях, но не в целом. Отдельные, самые мелкие области науки трактуются чисто объективно; в отношении же общих крупных наук, рассматриваемых как целое, легко возникает вопрос – весьма необъективный вопрос: к чему они? какую пользу они приносят? В силу этого соображения полезности они, как целое, трактуются менее безлично, чем в своих частях. Наконец, в философии, как в вершине всей пирамиды знания, непроизвольно поднимается вопрос о пользе познания вообще, и каждая философия бессознательно имеет намерение приписать ему высшую полезность.

Поэтому во всех философиях есть столько высоко парящей метафизики и такая боязнь незначительных с виду решений физики: ибо значительность познания для жизни должна казаться возможно большей. В этом – антагонизм между отдельными научными областями и философией. Последняя, подобно искусству, хочет придать жизни и действованию возможно бо?льшую глубину и значительность; в первых ищут только познания, и ничего более, – что бы из этого ни вышло. Не существовало доселе еще ни одного философа, в чьих руках философия не превращалась бы в апологию познания; в этом пункте по крайней мере каждый философ оптимист и уверен, что познанию должна быть приписана высшая полезность. Все они тиранизированы логикой, а логика есть по своему существу оптимизм.

7

Возмутитель спокойствия в науке. Философия отделилась от науки, когда она поставила вопрос: каково то познание мира и жизни, при котором человек живет счастливее всего? Это совершилось в сократических школах: точка зрения счастья задержала кровообращение научного исследования – и задерживает его еще и поныне.

8

Пневматическое объяснение природы. Метафизика объясняет книгу природы как бы пневматически, подобно тому как церковь и ее ученые прежде толковали Библию. Нужна весьма большая рассудительность, чтобы применить к природе тот же самый характер строгого искусства объяснения, который филологи создали теперь для всех книг: стараться просто понимать, что книга хочет сказать, а не подозревать двойной смысл и тем более не предполагать его заранее. Но подобно тому как даже в отношении книг плохое искусство объяснения отнюдь не преодолено окончательно и в самом лучшем и образованном обществе еще постоянно наталкиваешься на остатки аллегорического и мистического толкования, – так же дело обстоит и в отношении природы, и даже еще гораздо хуже.

9

Метафизический мир. Несомненно, что метафизический мир мог бы существовать; абсолютная возможность этого вряд ли может быть оспариваема. Мы видим все вещи сквозь человеческую голову и не можем отрезать этой головы; а между тем все же сохраняет силу вопрос: что осталось бы от мира, если отрезать голову? Это есть чисто научный вопрос, мало способный озабочивать человека; но все, что доселе делало метафизические допущения ценными, ужасными, радостными для людей, что их создавало, есть страсть, заблуждение и самообман: веру в них воспитывали не самые лучшие, а самые худшие методы познания. Открыть эти методы как основу всех существующих религий и метафизик – значит опровергнуть их! Тогда все еще сохраняется указанная выше возможность; но с ней просто нечего начать, не говоря уже о том, чтобы можно было ставить счастье, благо и жизнь в зависимость от хитросплетений такой возможности. – Ибо о метафизическом мире нельзя было бы высказать ничего, кроме того, что он – иной мир, что это есть недоступное, непостижимое иное бытие; это была бы вещь с отрицательными качествами. – Если бы существование такого мира было доказано совершенно точно, то все же было бы несомненно, что самое безразличное из всех познаний есть именно его познание; еще более безразличное, чем моряку среди опасностей бури – познание химического анализа воды.

10

Безвредность метафизики в будущем. Как только религия, искусство и мораль будут описаны в их происхождении, так что их можно будет сполна объяснить, не прибегая к допущению метафизических вмешательств в начале и в середине пути, – прекратится сильнейший интерес к чисто теоретической проблеме «вещи в себе» и «явления». Ибо – как бы дело ни обстояло здесь – через религию, искусство и мораль мы не прикасаемся к «существу мира в себе»; мы находимся в области представления, и никакое «чаяние» не может унести нас дальше. Вопрос о том, каким образом наша картина мира может так сильно отличаться от освоенного существа мира, будет с полным спокойствием предоставлен физиологии и истории развития организмов и понятий.

11

Язык как мнимая наука. Значение языка для развития культуры состоит в том, что в нем человек установил особый мир наряду с прежним миром, – место, которое он считал столь прочным, что, стоя на нем, переворачивал остальной

мир и овладевал им. Поскольку человек в течение долгих эпох верил в понятия и имена вещей, как в aeternae veritates, он приобрел ту гордость, которая возвысила его над животным: ему казалось, что в языке он действительно владеет познанием мира. Творец языка не был настолько скромен, чтобы думать, что он дал вещам лишь новые обозначения; он мнил, напротив, что выразил в словах высшее знание вещей; и действительно, язык есть первая ступень в стремлении к науке. Вера в найденную истину явилась и здесь источником самых могущественных сил. Гораздо позднее – лишь теперь – людям начинает уясняться, что своей верой в язык они распространили огромное заблуждение. К счастью, теперь уже слишком поздно, и развитие разума, основанное на этой вере, не может быть снова отменено. – И логика также покоится на предпосылках, которым не соответствует ничего в действительном мире, например на допущении равенства вещей, тождества одной и той же вещи в различные моменты времени; но эта наука возникла в силу противоположной веры (что такого рода отношения подлинно существуют в реальном мире). Так же обстоит дело с математикой, которая, наверное, не возникла бы, если бы с самого начала знали, что в природе нет точной прямой линии, нет действительного круга и нет абсолютного мерила величины.

12

Сон и культура. Мозговая функция, наиболее нарушаемая сном, есть память. Не то чтобы она совсем приостанавливалась – но она сведена к такому состоянию несовершенства, в каком она находилась, вероятно, в первобытные времена у всякого человека днем и наяву. Будучи произвольной и спутанной, она постоянно смешивает вещи на основании самых мимолетных сходств; но с такой же произвольностью и смутностью народы сочиняли свои мифологии, и еще теперь путешественники часто замечают, как сильно дикарь склонен к забывчивости и как его дух, после краткого напряжения памяти, начинает шататься по сторонам, и от простого утомления он говорит ложь и бессмыслицу. Но все мы во сне похожи на такого дикаря; плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений, в которых мы повинны во время сна; так что, когда мы отдаем себе ясный отчет в нашем сне, мы пугаемся, что в нас таится столько безумия. – Совершенная отчетливость всех представлений сна, которая опирается на безусловную веру в их реальность, напоминает нам состояние прежнего человечества, когда галлюцинации были чрезвычайно часты и иногда охватывали одновременно целые общины и целые народы. Итак, во сне и его грезах мы снова проходим урок прежнего человечества.

13

Логика сна. Во сне наша нервная система постоянно возбуждается множеством внутренних поводов, почти все органы находятся в деятельности, кровь совершает свой бурный круговорот благодаря положению спящего, отдельные члены придавлены, покрывала влияют различно на ощущения, желудок переваривает и беспокоит своими движениями другие органы, кишечник извивается, положение головы определяет собой необычное положение мускулов, ноги, оставаясь необутыми и не опираясь подошвами на почву, причиняют ощущение необычного, равно как и иное одеяние всего тела, – все это, ежедневно меняясь, усиливаясь и ослабевая, своею необычностью возбуждает всю систему вплоть до функции мозга. И таким образом, у духа есть сотни поводов удивляться и искать причин этого возбуждения; сон же есть искание и представление причин для этих возбужденных ощущений, т. е. мнимых причин. У кого, например, ноги опоясаны двумя ремнями, тому, может быть, снится, что две змеи обвиваются вокруг его ног; это есть сначала гипотеза, затем вера, сопровождаемая образным представлением и измышлением: «эти змеи должны быть causa того ощущения, которое испытываю я, спящий» – так судит дух спящего. Умозаключенное таким образом прошлое становится для него благодаря возбужденной фантазии настоящим. Так, всякий по личному опыту знает, как быстро спящий вплетает в свой сон доходящий до него сильный звук, например звон колоколов или пушечный выстрел, т. е. объясняет его задним числом, так что ему кажется, что он сперва пережил обусловливающие обстоятельства, а затем уже данный звук. – Но почему же дух спящего всегда ошибается, тогда как дух бодрствующий обыкновенно столь трезв, осторожен и скептичен в отношении гипотез? – Почему он удовлетворяется первой попавшейся гипотезой для объяснения чувства и тотчас же верит в ее истинность? (Ибо во сне мы верим в сон, как будто он есть реальность, т. е. мы считаем нашу гипотезу вполне доказанной.) – Я полагаю: как еще теперь человек умозаключает во сне, так человечество умозаключало и наяву много тысячелетий подряд: первая causa, которая приходила в голову, чтобы объяснить что-либо нуждавшееся в объяснении, была достаточна и принималась за истину. (Так, согласно рассказам путешественников, поступают дикари еще и теперь.) Во сне это первобытное свойство человечества возрождается в нас, ибо это есть основа, на которой развился и еще развивается в каждом человеке высший разум: сон переносит нас назад, к отдаленным эпохам человеческой культуры, и дает нам средство лучше понять их. Сонное мышление удается нам теперь так легко, потому что в течение очень долгих периодов развития человечества мы были так хорошо

приучены именно к этой фантастической и дешевой форме объяснения всего любой выдумкой. В этом смысле сон есть отдых для мозга, ибо днем последний должен удовлетворять более строгим требованиям, которые ставит мышлению более высокая культура. – Сходное состояние, образующее прямо-таки преддверие и ворота ко сну, мы можем испытать и при бодрствующем сознании. Когда мы закрываем глаза, то мозг создает множество световых впечатлений и цветов, вероятно, как своего рода отголосок и эхо всех тех световых ощущений, которые проникают к нему днем. Но рассудок (в союзе с фантазией) тотчас же перерабатывает эту, самое по себе бесформенную, игру цветов в определенные фигуры, образы, пейзажи, оживленные группы. Подлинный процесс при этом есть опять-таки известного рода умозаключение от действия к причине; задаваясь вопросом: «откуда эти световые впечатления и цвета?» – дух подставляет в качестве причин указанные фигуры и образы; они кажутся ему источниками этих цветов и световых впечатлений, потому что он привык днем и при открытых глазах находить действующую причину каждого цвета, каждого светового ощущения. Здесь, следовательно, фантазия постоянно снабжает его образами, опираясь в своей деятельности на зрительные впечатления дня, и совершенно то же делает фантазия во сне – т. е. мнимая причина выводится из действия и представляется после действия, и все это с необычайной быстротой, так что здесь, как когда смотришь на фокусника, может возникнуть неправильное суждение, и то, что следует одно за другим во времени, может показаться одновременным и даже в обратной последовательности. Из этих процессов мы можем усмотреть, как поздно развилось более острое логическое мышление, строгое отношение к причине и действию, если еще теперь наш разум и рассудок непроизвольно возвращаются в своих функциях к этим примитивным формам умозаключения, и мы приблизительно половину нашей жизни пребываем в этом состоянии. – Точно так же поэт, художник измышляет для своих настроений и душевных состояний причины, которые отнюдь не суть истинные; он в этом смысле напоминает нам прежнее человечество и может содействовать пониманию последнего.

14

Отраженное звучание. Все более сильные настроения заставляют отраженно звучать родственные ощущения и настроения; они как бы расталкивают память. Вместе с ними в нас что-то просыпается и сознает сходные состояния и их происхождение. Так образуются привычные быстрые сочетания чувств и мыслей, которые под конец, когда они следуют друг за другом с быстротой молнии, ощущаются уже не как комплексы, а как единства. В этом смысле говорят о

нравственном чувстве, о религиозном чувстве, как будто все это суть единства; в действительности же это суть потоки с сотней источников и притоков. Здесь, как и во многих других случаях, единство слова ничуть не удостоверяет единства предмета.

15

В мире нет ничего «внутреннего» и «внешнего». Подобно тому как Демокрит перенес понятия «верх» и «низ» на бесконечное пространство, где они не имеют никакого смысла, так философы вообще перенесли понятия «внутри» и «снаружи» на сущность и явление мира; они мнят, что глубокие чувства вводят глубоко внутрь и приближают к сердцу природы. Но эти чувства глубоки лишь в том смысле, что ими, еле заметно, постоянно возбуждаются известные сложные группы мыслей, которые мы называем глубокими; чувство глубоко, потому что мы считаем глубокой сопровождающую его мысль. Но «глубокая» мысль может все же быть весьма далека от истины, как, например, всякая метафизическая мысль; если от глубокого чувства отнять примешанные к нему элементы мысли, то останется сильноечувство; последнее же свидетельствует для познания только о самом себе, точно так же как сильная вера доказывает только свою силу, а не истинность своего объекта.

16

Явление и вещь в себе. Философы имеют обыкновение становиться перед жизнью и опытом – перед тем, что они зовут миром явления, – как перед картиной, которая развернута раз навсегда и неизменно указывает на одно и то же событие; это событие – полагают они – надо правильно истолковать, чтобы отсюда умозаключить к существу, которое создало картину, т. е. к вещи в себе, которую принято рассматривать как достаточное основание мира явлений. Напротив, более строгие логики, резко установив понятие метафизического как безусловного, а потому и необусловливающего, отвергли всякую связь между безусловным (метафизическим миром) и знакомым нам миром; так что, по их мнению, именно в явлении отнюдь появляется вещь в себе, и умозаключение от первого к последней должно быть отвергнуто. Обе стороны, однако, упустили из виду возможность, что эта картина – то, что люди теперь зовут жизнью и опытом, – постепенно возникла и даже находится всецело в процессе становления и потому не должна быть рассматриваема как постоянная величина, из которой можно было бы сделать – или хотя бы только отвергнуть –

умозаключение к ее творцу (достаточному основанию). Благодаря тому что в течение тысячелетий мы смотрели на мир с моральными, религиозными, эстетическими притязаниями, со слепым влечением, со страстью или страхом, в достаточной мере насладились бесчинством нелогичного мышления, – этот мир постепенно стал столь удивительно пестрым, ужасным, значительным и одухотворенным, он приобрел краски, – но мы сами были его колористами; человеческий интеллект заставил явления явиться и внес свои ошибочные воззрения в вещи. Поздно. Очень поздно – он опоминается; и теперь мир опыта и вещь в себе кажутся ему столь безусловно отличными и отделенными, что он отвергает умозаключение от первого ко второй, или же грозно-таинственно требует отказа от нашего интеллекта, от нашей личной воли – чтобы тем самым прийти к сущности, чтобы стать подобным этой сущности. Другие же собрали все характерные черты нашего мира явлений – т. е. сотканного из наших интеллектуальных заблуждений и прирожденного нам представления о мире – и, вместо того чтобы признать виновным интеллект, обвинили сущность вещей как причину этого действительно весьма жуткого характера мира и проповедовали спасение от бытия. Со всеми этими воззрениями когда-нибудь решительно справится постоянный и упорный процесс науки, который некогда отпразднует свой высший триумф в истории происхождения мышления, и результат, к которому он придет, быть может, сведется к следующему положению: то, что мы теперь зовем миром, есть результат множества заблуждений и фантазий, которые постепенно возникли в общем развитии органических существ, срослись между собой и теперь наследуются нами, как скопленное сокровище всего прошлого – как сокровище, – ибо на нем покоится ценность нашей человечности. От этого мира представлений точная наука действительно лишь в малой мере может освободить нас – что и отнюдь не желательно, – ибо она не может по существу уничтожить силу древних привычек чувства; но она может постепенно, шаг за шагом уяснять историю происхождения этого мира как представления – и, по крайней мере на мгновения, возносить нас над всем этим процессом. Быть может, мы тогда познаем, что вещь в себе достойна гомерического смеха: ибо казалось, будто она содержит столь многое, и даже все, – на деле же она пуста, т. е. лишена значения.

17

Метафизические объяснения. В юности человек ценит метафизические объяснения, потому что они обнаруживают ему в вещах, которые он находил неприятными или презренными, нечто весьма значительное; и если он

недоволен собой, то это чувство облегчается, когда он узнает глубочайшую загадку мира или несчастье мира в том, что он не одобряет в себе. Чувствовать себя самого менее ответственным и вместе с тем находить вещи более интересными – есть для него двойное благодеяние, которым он обязан метафизике. Позднее, правда, он начинает испытывать недоверие ко всему метафизическому способу объяснения; тогда, быть может, он также усматривает, что эти результаты достижимы другим путем и более научным способом, что физические и исторические объяснения по меньшей мере столь же возбуждают это чувство безответственности и что интерес к жизни и ее проблемам разгорается при этом, может быть, еще более.

18

Основные вопросы метафизики. Если некогда будет написана история происхождения мышления, то будет озарено новым светом и следующее суждение одного выдающегося логика: «Первичный всеобщий закон познающего субъекта состоит во внутренней необходимости познавать каждый предмет сам по себе, в его собственном существе, как тождественный самому себе, т. е. как самостоятельно существующий и в основе пребывающий и неизменный, словом, как субстанцию». И этот закон, который назван здесь «первичным», имеет происхождение: когда-нибудь будет показано, как постепенно в низших организмах возникла эта склонность; как подслеповатые кротовьи глаза этих организаций сначала видели всюду одно и то же; как затем, когда стали ощутительнее различные возбуждения удовольствия и страдания, постепенно начали различаться разные субстанции, но каждая – с одним только атрибутом, т. е. с единственным своим отношением к такому организму. – Первая ступень логического есть суждение; сущность же его состоит, согласно признанию лучших логиков, в вере. В основе всякой веры лежит чувство приятного или болезненного в отношении к ощущающему субъекту. Новое, третье чувство. Как результат двух предшествовавших отдельных чувств, есть суждение в его низшей форме. – Нас, органических существ, первоначально интересует в каждой вещи только ее отношение к нам в смысле удовольствия и страдания. Между моментами, когда мы сознаем это отношение, – между состояниями чувств – лежат состояния покоя, бесчувственности: тогда мир и все вещи лишены интереса для нас, мы не замечаем никакого изменения в них (как еще теперь человек, страстно заинтересованный чем-либо, не замечает, когда кто-нибудь проходит мимо него). Для растения обыкновенно все вещи покойны, вечны, каждая вещь равна самой себе. От периода низших организмов человек унаследовал веру, что существуют одинаковые вещи (лишь опыт, развитый при

высшем уровне науки, противоречит этому суждению).

Первичная вера всего органического с самого начала состоит, быть может, даже в том, что весь остальной мир един и неподвижен. – Менее всего этой первичной ступени логического развития доступна мысль о причинности; еще теперь даже мы, в сущности, считаем все ощущения и действия актами свободной воли; когда чувствующий индивид рассматривает самого себя, всякое ощущение, всякое изменение представляется ему чем-то изолированным, т. е. безусловным, бессвязным: оно всплывает из нашего сознания без связи с прошедшим или будущим. Мы чувствуем голод, но первоначально не думаем, что организм ищет самосохранения; напротив, это чувство, по-видимому, сказывается без основания и цели, оно изолируется и считает себя произвольным. Итак, вера в свободу воли есть первоначальное заблуждение всего органического мира, столь же старое, как первые пробуждения логической мысли; вера в безусловные субстанции и в одинаковые вещи есть также первоначальное, столь же старое заблуждение всего органического мира. И поскольку вся метафизика преимущественно занималась субстанцией и свободой воли, ее можно обозначить как науку, трактующую об основных заблуждениях человека, – но только так, как будто бы это были основные истины.

19

Число. Открытие законов чисел было сделано на почве первоначально уже господствовавшего заблуждения, что существует множество одинаковых вещей (тогда как в действительности нет ничего одинакового) и по меньшей мере что существуют вещи (тогда как не существует никакой «вещи»). Допущение множественности всегда уже предполагает, что существует нечто, что встречается неоднократно; но именно здесь уже царит заблуждение, уже здесь мы измышляем сущности, единства, которых нет на самом деле. – Наши ощущения пространства и времени ложны, ибо, будучи последовательно проверены, они приводят к логическим противоречиям. Во всех научных выводах мы неизбежно всегда включаем в расчет некоторые ложные величины; но так как эти величины по крайней мере постоянны, как, например, наше ощущение времени и пространства, то результаты науки приобретают все же совершенную строгость и точность в их взаимоотношении между собою; на них можно опираться – до того последнего, конечного вывода, в котором ошибочные основные допущения – упомянутые постоянные ложные величины – вступают в противоречие с результатами, например в атомистической теории. Тут мы все еще чувствуем себя вынужденными допустить «вещь» или материальный

«субстрат», который движется, – тогда как вся научная работа именно и преследовала задачу разложить все вещеобразное (материальное) на движения: мы и здесь еще различаем в нашем ощущении между движущим и движимым и не можем выйти из этого круга, ибо вера в вещи издавна вросла в наше существо. – Если Кант говорит: «Разум не черпает своих законов из природы, а предписывает их последней», то это совершенно верно в отношении понятия природы, которое мы принуждены связывать с ней (природа=мир как представление, т. е. как заблуждение), но которое есть суммирование множества заблуждений разума. – К миру, которые не есть наше представление, совершенно неприменимы законы чисел: последние имеют значение только для человеческого мира.

20

Несколько ступеней назад. Одна, несомненно, весьма высокая ступень образования достигнута, когда человек преодолевает суеверные и религиозные понятия и страхи и, например, уже не верит больше в милых ангелочков и в первородный грех, а также отвыкает говорить о спасении души. Достигнув этой ступени освобождения, он должен еще с величайшим напряжением своей рассудительности преодолеть метафизику. Но тогда необходимо обратное движение: он должен понять историческую, а также и психологическую правомерность таких представлений, он должен познать, что величайшая мощь человечества исходила оттуда и что без такого обратного движения можно было бы лишиться лучших результатов, достигнутых человечеством доселе. – В отношении философской метафизики я вижу теперь все больше людей, которые достигли отрицательной цели (именно что всякая положительная метафизика есть заблуждение), но лишь немногих, которые спустились несколькими ступенями ниже: ибо существенное заключается в том, чтобы смотреть поверх последней ступени лестницы, а не успокаиваться на ней. Самые просвещенные люди достигают лишь того, что освобождаются от метафизики и оглядываются на нее с сознанием своего превосходства, тогда как и здесь, как на ипподроме, необходимо свернуть с финишной черты.

21

Предположительная победа скепсиса. Попробуем признать исходную точку скептицизма; допустим, что не существует другого, метафизического мира и что все заимствованные из метафизики объяснения единственного знакомого нам

мира непригодны для нас; какими глазами стали бы мы тогда смотреть на людей и вещи? Это можно представить себе, и это полезно сделать, даже если вопрос, доказали ли Кант и Шопенгауэр научно что-либо метафизическое, был бы отвергнут. Ибо с точки зрения исторической вероятности весьма возможно, что некогда в этом отношении люди станут в общем и целом скептиками; и вот, вопрос гласит: как сложится тогда человеческое общество под влиянием такого настроения? Быть может, научное доказательство какого-либо метафизического мира уже настолько трудно, что человечество не может более отрешиться от недоверия к нему. А когда чувствуешь недоверие к метафизике, то это в общем и целом приводит к таким же результатам, как если бы она была прямо опровергнута и в нее нельзя было Сверить. Исторический вопрос в отношении неметафизического настроения человечества остается в обоих случаях одинаковым.

22

Неверие в «monumentum aereperennius». Существенный ущерб, который приносит с собой уничтожение метафизических воззрений, состоит в том, что индивид слишком пристально всматривается в свою краткую жизнь и не получает никаких более сильных импульсов, которые заставляли бы его работать над длительными, предназначенными для столетий организациями; он хочет сам срывать плоды с дерева, которое он сажает, и потому он не хочет более сажать те деревья, которые требуют векового равномерного ухода и которые предназначены бросать тень на долгие ряды поколений. Ибо метафизические воззрения дают веру, что в них содержится последний, окончательный фундамент, на котором отныне должна покоиться и созидаться вся будущность человечества: отдельная личность содействует своему спасению, когда она, например, строит церковь или основывает монастырь; это, как она думает, зачитывается и воздается ей в вечной жизни души, это есть работа над вечным спасением души. – Может ли наука пробуждать такую же веру в свои результаты? В действительности она нуждается в сомнении и недоверии как в своих вернейших союзниках; тем не менее со временем сумма неприкосновенных истин, т. е. истин, выдерживающих все бури скепсиса и все разрушения (например, в диететике здоровья), может настолько увеличиться, что ввиду их люди решатся создавать «вечные» произведения. Пока же контраст нашего возбужденного эфемерного бытия по сравнению с медлительным спокойствием метафизических эпох действует еще слишком сильно, ибо обе эпохи стоят еще очень близко друг от друга; даже отдельный человек переживает теперь так много внутренних и внешних эволюций, что не решается

устроиться прочно и раз навсегда хотя бы только в расчете на свою собственную жизнь. Вполне современный человек, который, например, хочет построить себе дом, испытывает при этом чувство, как будто он живьем намерен замуровать себя в мавзолей.

23

Эпоха сравнения. Чем менее люди связаны традицией, тем сильнее становится внутреннее движение мотивов, и тем больше соответственно тому становится в свою очередь внешнее беспокойство, взаимное столкновение людских течений, полифония стремлений. Для кого существует еще ныне строгое принуждение прикрепить себя и свое потомство к определенному месту? Для кого вообще существует еще что-либо строго связывающее? Если люди воспроизводят теперь одновременно все роды художественного стиля, то точно так же и все ступени и виды нравственности, обычаев, культур. – Такая эпоха приобретает значение тем, что в ней могут быть сравниваемы и одновременно переживаемы самые различные миропонимания, нравы, культуры, – что прежде, ввиду всегда локализованного господства каждой культуры, было невозможно, подобно тому как и все роды художественного стиля были связаны известным местом и временем. Теперь рост эстетического чувства будет произносить окончательный приговор над столь многими поддающимися сравнению формами: оно заставит вымереть большинство из них – именно те, которые отвергнуты этим приговором. Точно так же теперь совершается отбор между формами и привычками более высокой нравственности, – отбор, целью которого может быть только гибель низших форм нравственности. Такова эпоха сравнения! В этом ее гордость, но – как и надлежит быть – также и ее страдание. Не будем бояться этого страдания! Напротив, постараемся представить себе задачу, которую ставит нам эпоха, как можно более высокой; и тогда нас благословит за это потомство – то потомство, которое будет сознавать свое превосходство как над замкнутыми оригинальными народными культурами, так и над культурой сравнения, но будет с благодарностью озираться назад, на оба вида культуры, как на достойные почитания древности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/fridrih-nicshe/chelovecheskoe-slishkom-chelovecheskoe

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити